

О. Н. ГРЕЧИНА¹

ЧЕЛОВЕК ДРУГОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ²

Большой доходный дом по улице Марата № 20 имел три двора, и в глубине третьего слева стоял маленький флигель в два или три этажа, весь окруженный, как венком, поленицами распиленных и расколотых дров, доходивших до уровня окон первого этажа и, как водится, сверху укрытых от дождя и злоумышленников кусками толя и старого железа.

Слева, у подножия лестницы, была разбухшая от сырости обитая мешковиной дверь, видимо, бывшей дворницеей. Когда дверь отворялась, нужно было еще спуститься по ступенькам вниз в небольшую комнату, которая служила одновременно прихожей, столовой и кухней. Сюда же выходили двери двух комнат и уборной. Воздух в квартире был сырой и спертым (от дров), было всегда холодно.

¹ Гречина Ольга Николаевна (1922–2000) — филолог, фольклорист, кандидат филологических наук. Внучка выдающегося русского слависта и историка В. И. Ламанского. С 1939 г. училась в 5-й русской группе филологического факультета ЛГУ вместе с Ю. М. Лотманом, во время войны посыпала ему на фронт из блокадного Ленинграда письма и книги. Дружеские отношения с Ю. М. Лотманом и его женой З. Г. Минц сохранились до конца жизни обоих. В 1948–1953 гг. училась в аспирантуре ЛГУ, тема работы — партизанский фольклор Псковского края (науч. руководитель — В. Я. Пропп (см.: Гречина О. Н. Спасаюсь, спасая: Воспоминания о блокаде // Нева. 1994. № 1. С. 211–283; № 2. С. 199–248)). Дружили семьями до смерти В. Я., а потом и его вдовы. В 1950–1965 гг. преподавала на кафедре советской литературы ЛГУ, затем в Политехническом институте и в Педагогическом институте им. А. И. Герцена (в последнем — русский язык как иностранный, разрабатывала методику обучения иностранцев). В 1964 г. вдохновила свою дочь-подростка М. Осорину собирать детский фольклор, к 1970 г. появилась большая коллекция страшных историй, названных «страшилками». — Примеч. М. В. Осориной.

² Впервые опубл.: Неизвестный В. Я. Пропп / предисл., сост. А. Н. Мартыновой, подгот. текста, comment. А. Н. Мартыновой, Н. А. Прозоровой. СПб., 2002. С. 459–472.

Придя в этот дом впервые, я в смущении и недоумении остановилась на пороге: может ли быть, что в такой убогой квартире живет профессор ЛГУ, известный ученый Владимир Яковлевич Пропп?

Хозяин появился на пороге, очень любезно начал снимать с меня пальто, и по узкому коридорчику, где двоим было не разойтись, я вошла вслед за Владимиром Яковлевичем в его кабинет. От смущения я не смела даже оглядеться. Бросились в глаза лишь окно бровень с дровами и большой стиранный письменный стол без обычного беспорядка бумаг, пустой. Справа от него стояло обтянутое синим бархатом старенько кресло, куда обычно хозяин сразу же усаживал гостя: комната тоже была очень узкой.

Мое смущение при первом визите в дом Владимира Яковlevича имело свои основания. Стояла осень 1950 г. Совсем недавно прошли гнусные собрания по «разоблачению космополитов», когда один за другим выходили на трибуну «верные ученики» Азадовского, Гуковского, Жирмунского, Бялого, Эйхенбаума и других «космополитов» и поносили своих учителей, обвиняя их в том, что они их неправильно учили, «обманывали», «давали камень вместо хлеба» и т. д.

В таких условиях никто никому доверять не мог, тем более, когда приходит в дом незнакомый человек. Я ожидала недоверия и напряженности со стороны Владимира Яковлевича, ибо это была обычная атмосфера общения в то время. Но он был очень любезен и спокоен. Владимир Яковлевич не был задет на том собрании потоком грязи, который изливали ученики на учителей. Он сам выступил с речью, где ни в чем не каялся (а «Советская культура» и о его трудах писала в гнусных и ругательных тонах) и пытался объяснить собравшимся сложности исследовательской работы в филологии. В своем выступлении Владимир Яковлевич не нервничал и не терял своего достоинства. Нам тогда очень понравилась его речь. Владимир Яковлевич зимой 1950 г. пережил первый инфаркт (пока еще «микро»). Была закрыта кафедра фольклора, на которой он имел полставки по фольклору, все еще продолжая преподавать и немецкий язык.

Бывшие аспиранты М. К. Азадовского теперь механически переходили к Владимиру Яковлевичу, но он не знал ни нас, ни наших тем. Было нас, аспирантов, человек восемь–десять; со второго курса аспирантуры я, Ира Лупанова и бурятка Лиза Баранникова.

Вторая причина моего смущения была в том, что я уже училась у Владимира Яковлевича в просеминаре по фольклору, обязательному для всех студентов первого курса. Это было еще до войны, в 1939 г. Нам тогда было по 17–18 лет, и мы были наивны и глупы, что сказывалось и в наших докладах. Только староста V русской Юра Лотман ведал, что творит, когда писал свой первый в ЛГУ доклад, а мы еще не чувствовали своей будущей специальности и ее специфики. Владимир Яковлевич тогда придумал для нас очень интересный тип семинара: все писали на одну и ту же тему — «Сюжет

боя отца с сыном в мировом фольклоре». Это давало возможность сравнивать доклады (и сюжеты!), всех включало в общую работу.

Не случайно потом многие из того семинара, став сами преподавателями вузов, использовали этот педагогический прием Владимира Яковлевича.

Я очень боялась, что Владимир Яковлевич вспомнит о том моем докладе, так как я считала его своим позорным провалом: я взяла немецкий сюжет о Гильдебранте и Гадубранте, увлеклась переводом, который у меня не вышел как следует, потому что это был древненемецкий язык, которого я не знала, а анализ сделать уже не успела. После этого я очень дичилась Владимира Яковлевича, хотя меня восхищали его труды и увлекла его методика. Я ходила на все его доклады (он тогда занимался русскими былинами), здоровалась с ним, когда встречались на кафедре, но этим и ограничивалось наше общение.

Перед встречей с новым руководителем было много разговоров о том, какой он. Одни уверяли, что он замкнут и суров, другие считали его простым и добрым. На кафедре его третировали как «кабинетного ученого», который «ни разу не был в экспедиции и не записывал фольклор», что, впрочем, ему было совершенно не нужно.

В это время уже были написаны две главные книги В. Я. Проппа. Это гениально простая «Морфология сказки» (1928), которая через 30 лет после выхода в свет будет переведена на все главные языки мира и ее признают предтечей нового направления в гуманитарных науках — структурализма.

А в 1946 г. вышла в издательстве ЛГУ монография по докторской диссертации Проппа «Исторические корни волшебной сказки». Написанная предельно просто, она увлекательна, как детектив.

Однажды в мое отсутствие зашел знакомый врач, дожидаясь меня, стал читать эту книгу и не мог оторваться, умоляя дать ему хоть на ночь, чтобы дочитать.

Уже после смерти Проппа выйдет второе издание этой книги и скоро станет библиографической редкостью...

А пока обе книги подвергаются грубейшим разносам в печати, на Проппа уже навешен ярлык «формалиста», корни волшебной сказки признаны опасно разросшимися за пределы «русской почвы», и, пользуясь кампанией борьбы с космополитизмом, громулы-критики безнаказанно разносят «Исторические корни волшебной сказки», потому что автор и сам-то «космополит», хоть и не еврей, но немец, что тоже подозрительно...

И пока никто не знает, что всего через восемь лет обе эти книги помогут Владимиру Яковлевичу сделать первый шаг к мировой славе.

А до получения новой квартиры осталось еще больше десяти лет, и пока хозяин отдельного полуподвала встречает на пороге свою новую аспирантку.

Когда я пришла впервые на улицу Марата, оказалось, что страшного ничего нет.

Владимир Яковлевич честно признался, что партизанского фольклора, которым я занималась, он не знает, но с удовольствием узнает из моей работы, обещал методическую и теоретическую помощь.

Наше общение продолжалось недолго: в декабре 1950 г., не успев завершить диссертацию, я родила дочь Машу. Для аспирантки 49–50-х гг. этот радостный факт был чреват большими неприятностями.

Наш ректор А. А. Вознесенский придумал целую систему карательных мер на случай появления у аспирантки ребенка до диссертации: предлагалось даже снижать на какой-то процент зарплату руководителя, не говоря уже о выговорах, на которые Вознесенский был очень щедр. Все это сильно портило отношения руководителей с демографически несдержанными аспирантками, а их держало в таком страхе, что они нелегально и за большие деньги делали себе зверскую операцию – вливание йода (abortы были тогда строжайше запрещены, а вливание гарантировало бездетность, многим, как оказалось, на всю жизнь).

Некоторые руководители, принимая девушек в аспирантуру, требовали от них «обета безбрачия» или, по крайней мере, бездетности. Я, не успев выяснить, как мой научный руководитель будет реагировать на подобную ситуацию, известила Владимира Яковlevича покаянной открыткой из роддома. В ответ я получила очень сердечные поздравления с этим радостным для меня событием:

«11 декабря 1950 года.

Дорогая Оля!

От всей души поздравляю Вас с появлением у Вас маленькой Машеньки, а маленьку Машеньку поздравляю с появлением на этот свет, где в общем живется не так уж плохо. Очень, очень за Вас рад и желаю Вам, чтобы Вы в своих детях были счастливы. Пишу “детях”, т. к. теперь надо думать об Иванушке. Павел Николаевич съел бы Вас живьем, а я нет, я даже рад, а диссертация подождет.

За нее я не беспокоюсь, а беспокоюсь за Вас, пока Вы находитесь в учреждении, именуемом больницей.

Надеюсь, что Вы выйдете скоро и что у Вас все хорошо.

Умница! Хвалю.

Ваш В. Пропп».

И вот осенью 51 г. я везу Владимиру Яковлевичу наспех дописанную диссертацию и Машу, важно восседающую в голубой коляске. Владимир Яковлевич и его жена Елизавета Яковлевна встретили меня так тепло и сердечно, что все мои тревоги прошли. Владимир Яковлевич сфотографировал этот наш визит. Оказалось, что он увлекается фотографированием и особенно любит снимать детей. В дальнейшем Владимир Яковлевич часто приглашал меня с дочерью к себе, а когда родилась вторая, пришел

с Елизаветой Яковлевной к нам в гости и подарил новорожденной красивый розовый конверт.

Детские фотопортреты Владимира Яковлевича отличались не только профессионально высоким уровнем работы, но и глубиной психологизма.

Наши отношения становились все более дружескими, особенно после того, как я защитила диссертацию в феврале 1952 г. Теперь мы были коллегами, и Владимир Яковлевич стал называть меня в университете только по имени и отчеству. Кликать своих учеников до старости по имени и на «ты» — этого он не мог себе представить.

Чем больше я узнавала Владимира Яковлевича, тем более утверждалась в странной мысли, что Владимир Яковлевич принадлежит к какой-то ушедшей цивилизации, уже покинувшей землю. Даже внешность его — большие, чуть выпуклые карие глаза под тяжелыми веками, усы и бородка «эспаньолка», которых никто уже не носил тогда, напоминали портреты людей Возрождения, а может быть, даже Средневековья. Обхождение с женщинами шло явно от рыцарских времен.

Однажды я увидела в пустом коридоре филфака, как Владимир Яковлевич приветствовал Ольгу Михайловну Фрейденберг. Эта гениальная женщина, явно недооцененная современниками, пользовалась особым уважением Владимира Яковлевича. И вот, встретившись с нею в пустом коридоре, он вдруг согнулся в почтительном поклоне, слегка помахав перед собой правой рукой, в которой я вдруг «увидела» шляпу с тяжелым до пола пером.

Сейчас мы гораздо больше знаем о людях этой ушедшей цивилизации: Вернадский, Вавилов, Чаянов, Чижевский, Флоренский — вот ее представители. Тогда мы не знали о них ничего. Владимир Яковлевич был один такой среди тех, кто работал в те годы. Никто из них не печатал *всех* своих трудов в невыгодном безгонорарном издательстве ЛГУ. Только вторые издания приносили доход, первые же были сущим разорением: одна перепечатка текста чего стоила! При этом в доме не было лишних денег: Владимир Яковлевич помогал своей старшей дочери и внучке, содержал семью своей первой жены, когда в 1937 г. они лишились кормильца; сестра Елизаветы Яковлевны, инвалид, жила до самой смерти в их доме, помогал он и своим двум сестрам.

Когда Владимир Яковлевич умер, деньги на памятник собрали среди учеников и друзей Владимира Яковлевича. Прекрасную его фольклорную библиотеку Елизавета Яковлевна продала за бесценок (три тысячи, больше дать не смогли!) в Петрозаводск, а деньги разделила между родственниками Владимира Яковлевича, послав и двум старушкам-пенсионеркам, сестрам Владимира Яковлевича, которые бедствовали где-то в провинции.

Жители флигелька на Марата быстро узнали, что профессор из полуподвала никогда не отказывается дать в долг «до получки»,

и пьяницы-соседы начали этим беззастенчиво пользоваться, их жены еще и скандалы устраивали: «Зачем дал моему на опохмелку!»

Елизавета Яковлевна видела в этом поощрение пьянства и тоже не одобряла, но Владимир Яковлевич искренне недоумевал: «Но ведь если он просит, значит, ему действительно нужно!» Не скучился он и на щедрые подарки ученикам в связи с разными событиями и на всякие взносы, которые вечно собирали с нас на кого-нибудь или что-нибудь.

На личные расходы оставалось явно мало: я помню Владимира Яковлевича всю жизнь в одном костюме и стареньком синем демисезонном пальто, которое он носил зимой и летом. На плече оно разорвалось и было зашито через край. Одно домашнее платье было и у Елизаветы Яковлевны, в последние годы уже порядком заштопанное, а на волосах дома — сетка, чтобы прическа была всегда в порядке. Проблема одежды для себя никогда, видимо, их не волновала. Не было и никаких излишеств в быту. Гостей встречали хлебосольно, но меню было обычным, как у нас всех, профессорской роскоши никогда не бывало...

Удивляло нас, что Владимир Яковлевич никогда не позволял себе ни слова сказать про тех, кого он не любил и кто ему причинял много неприятностей. Даже в самых грубых разносных статьях про него он пытался найти какой-то смысл.

Мы тогда жаловались ему на бесцеремонность и грубоść ректора А. А. Вознесенского. Он всегда останавливал нас: «О нем я могу говорить только с благодарностью — он спас меня от смерти!»

Действительно, в июле 1941 г. Пропп получил из милиции повестку: в 24 часа явиться, имея запас вещей и продуктов. Это была срочная высылка из Ленинграда всех немцев. Владимир Яковлевич пошел к ректору с этой повесткой, и тот быстро освободил его от явки, которая, конечно, грозила бы гибелью и Владимиру Яковлевичу, и его семье.

Никто так не жалел Вознесенского, как Владимир Яковлевич, когда вслед за братом, Н. А. Вознесенским, был расстрелян и А. А. Умение быть благодарным за добро — одна из характерных черт этой ушедшей цивилизации, как и глубокое чувство своего человеческого достоинства: не отрекаться никогда от того, что считаешь истиной, и не позволять унижать себя.

Запомнился один эпизод из быта кафедры фольклора. При подведении итогов года оказалось, что у Владимира Яковлевича не хватает до полной нагрузки 20 часов. М. К. Азадовский заявил: «Ну вот, курсом на ОЗО мы догрузим Владимира Яковлевича!» И тут впервые Пропп взорвался: «Этого курса я читать не стану!» — покраснев от гнева, заявил Владимир Яковлевич. Действительно, все курсы в это время читал Владимир Яковлевич (М. К. страдал болезнью голосовых связок), а всех аспирантов вел М. К. Нагрузки несопоставимые по трате энергии, при этом ниче-

го не стоило списать недостающие часы на консультации или еще что-либо фиктивное, так делали всегда. «Догрузка» ОЗО была унижением, Владимир Яковлевич этого не допустил.

Получив аспирантов М. К. Азадовского, Владимир Яковлевич ни словом, ни намеком, ни даже интонацией голоса не показал своего отношения к бывшему начальнику, хотя многие другие на его месте не удержались бы.

Когда Владимир Яковлевич незадолго до ухода на пенсию в течение года заведовал кафедрой русской литературы, он удивил коллег и идеальным порядком в делах кафедры, и строгой требовательностью к коллективу. Однако все подчинялись, уважая моральный авторитет Владимира Яковлевича, хотя и звали его шутя «железный канцлер». Внутренняя дисциплина и высокая требовательность к себе и другим были его характерными чертами.

Вспоминали, что в годы эвакуации ЛГУ в Саратове Владимир Яковлевич ходил на все трудпопинности и копал землю вместе со всеми в жару и в холод, хотя для профессоров это, вероятно, не было таким уж обязательным.

Отношение Владимира Яковлевича к студентам тоже резко отличалось от общей послевоенной нормы. До войны преподаватели уделяли большое внимание каждомуциальному человеку. Помню, как профессору И. И. Толстому понравилась моя записка на лекции. Он попросил автора (я не подписалась) подойти в перерыв, повел меня в буфет, усадил пить чай с собой, разговаривал, выясняя мои интересы. А я была для него неизвестная первокурсница. С первого курса М. К. Азадовский намечал перспективных студентов в свой семинар. И так было почти у всех. В послевоенные годы эта тенденция ослабела, а погромы 49–50-х гг. почти полностью подорвали близкое общение студентов и преподавателей. И петух не успевал кукарекнуть, как многие из семинара трусливо отрекались от своего учителя «космополита». Оставались немногие доверенные люди, которые старались не афишировать свою связь с опальным учителем. На дому проводили занятия лишь те, кому по болезни было трудно ходить. Например, В. Е. Евгеньев-Максимов, А. Н. Орлов и другие старики.

Пропа же и в эти трудные времена не утратил способности в каждом искать нечто индивидуально ценное и пестовать это качество. Он удивительно умел ободрять людей и внушать им веру в свои силы. М. П. Чередникова вспоминала, что только самые безнадежные доклады в фольклорном студенческом семинаре не вызывали одобрительных замечаний. В таких случаях Владимир Яковлевич замолкал и мрачно смотрел на тополь за окном. Студенты знали, что это сигнал крайнего его неудовольствия, хотя он признавал печальную необходимость существования и слабых учеников.

Владимир Яковлевич заботливо отучал студентов от синдрома экзаменационного страха, который часто заставлял первокурсника

бросать самый простой билет и бежать с экзамена. В послевоенном нервном поколении такая реакция не была редкой. Владимир Яковлевич заставлял такого студента вернуться, сесть и все хорошенько обдумать. Его благожелательность успокаивала, и все обычно кончалось благополучно.

Это внимание к студенту мы, ученики Владимира Яковлевича, переняли от него. Я однажды даже на вступительных экзаменах в ЛГУ, где конкурс был огромный и надо было «резать», а не уговаривать, заставила одну девицу вернуться и обдумать ответ. Оказалось, что она знает все на твердую пятерку, а сработал «синдром страха».

Студенты очень ценили не только академическое, но и человеческое внимание к себе Владимира Яковлевича. Я не знаю другого примера, чтобы профессор годами переписывался со своими бывшими ученицами, попавшими надолго в больницу, как Лариса Ивлева, или в трудные условия работы, как М. Чередникова или Юля Пантелеева. Юля признавалась мне потом, что только письма Владимира Яковлевича позволили ей год выдержать работу учителя в детской трудовой колонии, где ученики бросали в нее поначалу дохлыми кошками.

Владимира Яковлевича отличала и какая-то совершенно особыя предупредительность вообще ко всем людям. Так, когда в их квартире переменили номер телефона, все возможные собеседники Владимира Яковлевича получили от него открытки с его новым номером телефона.

Один такой случай удивительной предупредительности Владимира Яковлевича касался лично меня. Я договорилась к 5 часам принести к нему на Марата рецензию на его статью в «Ученые записки». В четыре часа в нашей квартире вдруг раздался звонок с черного хода. (В это время уже работал лифт, и все ходили с парандой.) Муж открыл дверь и с удивлением увидел Владимира Яковлевича.

Я выбежала тоже: «Зачем же вы пришли, Владимир Яковлевич, я ведь сейчас к вам собиралась. К тому же у нас лифт теперь, а тут так высоко...» Он спокойно возразил: «Про лифт я не знал, а у нас раскопали весь двор и через канавы проложены такие ненадежные мостки, вот я и подумал, как вы пойдете в таком состоянии...» (я ждала второго ребенка). И это в то время, когда нам постоянно говорили в университете: «Ваши дети нас не касаются!» Я могу ручаться, что больше так не поступил бы никто из работавших тогда на факультете.

Жизнь семьи Владимир Яковлевич на улице Марата была очень трудной: печное отопление, а значит, постоянная забота о дровах, сырость и холод, отсутствие ванной и телефона, дикая теснота в крошечных клетушках-комнатках.

Сын Миша рос, и его увлечения требовали все большего пространства. В шестом или седьмом классе он увлекся биологией

и заселил свою комнату белыми мышами и морскими свинками, а в квартире установился прочный запах зоосада. Потом уже студентом он увлекся подводным плаванием и конструированием аппаратов для этого (их тогда еще не было у нас в стране). Квартира стала походить на ателье по ремонту бытовых приборов. Позже Миша разделил увлечение отца фотографией.

Владимир Яковлевич очень ценил свободу в выборе занятий и увлечений и считал, что воспитывать детей не надо, ребенок и сам сделается человеком, каким должно. Я с ним спорила, но он всегда оставался верен своим принципам.

Между тем университету стали давать квартиры. Заселили два дома (на ул. Шаумяна и Заневском пр.). Туда переехали уборщицы ЛГУ, которые тут же, получив квартиры, уволились со своих непрестижных мест с нищенской зарплатой. Получали квартиры все оставленные на преподавательскую работу секретари партбюро. Беспартийных ленинградцев не брали даже на учет. За Проп-пом числилась «отдельная квартира из 4-х комнат». О том, что комнаты-клетушки, а квартира в полуподвале, не упоминалось. О том, как страдал Владимир Яковлевич в квартире на Марата, можно только догадываться. На работе ни он, ни Елизавета Яковлевна ни на что не жаловались.

(Следующая страница рукописи утеряна. В ней рассказывается о коллективных письмах, хождениях по инстанциям, которые были предприняты друзьями—коллегами и учениками Проппа, чтобы добиться ему новую квартиру. Ее дали — четырехкомнатную на Московском пр., где поселились Владимир Яковлевич, его жена, сын с невесткой и внуком и сестра жены. Описывается интерьер квартиры.)

...на специальных полках стояли фотопринадлежности. Особенно нарядно выглядела гостиная, залитая солнцем, с окном и широкой стеклянной дверью балкона. На угловой тумбочке около серванта в день новоселья стоял огромный букет роз.

Над обеденным столом повесили подарок нашей семьи — большую акварель моей дочери Маши. Владимир Яковлевич очень понравился этот рисунок своей нетрадиционностью, и он сам выбрал именно его для своей квартиры: на голом желтом пригорке, из-за которого виднелись крыши изб, были изображены прядла для сушки сена.

В своей речи, обращенной к нам, Владимир Яковлевич трогательно благодарили нас: всех, кто помог ему получить квартиру, за то, что мы «подарили ему десять лет жизни». Случилось именно так: в новой квартире Владимир Яковлевич прожил десять лет.

Однако и жизнь в новых условиях не была идиллической. В 50-х гг. Миша женился, родился сын, которого с двухнедельного возраста оставили на воспитание деда и бабки — а сами уехали из Ленинграда на работу на Север, потом на Дальний Восток.

Трудно было с няньками, мальчик ходил в ясли, потом в детский сад. Можно предполагать, что жизнь его в детских учреждениях не была безоблачной: с четырех-пяти лет он стал сильно заикаться. Это очень беспокоило Владимира Яковлевича и Елизавету Яковлевну, но организовать систематическое лечение у них уже не было сил, да и медицинских возможностей тогда еще не было. Учился Андрей всегда хорошо, и эта сторона его жизни не требовала вмешательства.

В Репино дед и бабушка регулярно снимали для него дачу. Владимир Яковлевич очень любил Репино и каждое лето сам сажал цветы вокруг дачи. Особенно он любил гвоздику и анютины глазки.

Однажды Владимир Яковлевич с внуком неожиданно приехал к нам в гости в село Рождествено, где мы снимали на Церковной улице дачу около известного собора из красного кирпича. Мы вместе гуляли целый день, потом обедали у нас. Владимир Яковлевич очень понравился чечевичный суп, и он стал выяснять рецепт его приготовления: «У меня не получается такой вкусный!» — пожаловался он и очень обрадовался, узнав, что первую воду с чечевицами надо сливать, так как она горькая. Оказалось, что на даче он готовит обед на керосинке по очереди с Елизаветой Яковлевной, через день. Она летом писала свою кандидатскую диссертацию по фонетике, и Владимир Яковлевич так уважал ее работу, что готов был жертвовать своим временем ради ее научного труда.

Зимой тоже Владимиру Яковлевичу приходилось многое делать по хозяйству. Он ходил в магазины, сдавал бутылки. Андрей учился в старших классах, и его старались сильно не отвлекать от учебы. Времени хронически не хватало, а хотелось сделать еще многое! В последние годы Владимир Яковлевич отказывался ради научной работы от своих увлечений: уже не фотографировал, как раньше. (Особенно он любил снимать работы скульптора Мартоса. Я часто встречала Владимира Яковлевича в городе за этим занятием.) Меньше стал читать, не ходил, как раньше, в кино. Осталось самое главное: музыка и наука. Часто приходил к нему И. И. Земцовский, музыкант и фольклорист, и Владимир Яковлевич играл с ним в четыре руки на пианино. А в науке в последние годы Владимир Яковлевич пережил свою последнюю «болдинскую осень»: спецкурс о комическом (совершенно неожиданный для коллег по кафедре), спецкурс по сказке, выход к древнерусскому искусству в статье об иконе Георгия Победоносца. Отказался Владимир Яковлевич и от преподавания, остался профессором-консультантом.

В последние годы, когда я уже не работала в университете, мы виделись реже. Я знала, что он будет рад моему приходу, но понимала и то, как дорога Владимиру Яковлевичу каждая минута быстро уходящей жизни...

Мы обязательно виделись в апреле, где-то между Пасхой и его днем рождения. Я приходила с дочерьми или с дочерью Машей, которая уже училаась в университете на психологическом факультете и стала всерьез заниматься детским фольклором³. Владимир Яковлевич давал ей читать книги по этнографии. Обе дочери хорошо рисовали, и мы обычно приносили в подарок от руки раскрашенные яйца. В доме Владимира Яковлевича Пасху, кажется, не праздновали, но как он радовался этим яйцам, как любовно и долго их разглядывал! В последний апрель я подарила ему теплый пухистый шарфик на шею. Он надел его, посмотрелся в зеркало и сказал смущенно: «Я в нем похож на женщину!» Видимо, ему показался слишком нарядным этот вполне мужской шарфик.

В 1965 г. торжественно отметили семидесятилетие Владимира Яковлевича.

В ресторане «Москва» собирались члены кафедры и все приглашенные, человек тридцать. Было все необычайно роскошно, о чем позабылся Макогоненко, хорошо знавший персонал ресторана, где и он любил бывать: прекрасная еда, много цветов, очень теплые, искренние речи. Владимир Яковлевич как бы прощался с друзьями и коллегами, хотя никто не думал тогда, что эта встреча — последняя. Владимир Яковлевич был полон радости жизни, и я вспомнила, как весной 1963 г. неофициально собрались в общежитии студенты-русисты очередного выпуска, среди которых было много учеников Владимира Яковлевича.

Ребята позвали только тех, кого уважали и ценили не только в академическом, а в чисто человеческом отношении, поэтому официальных лидеров факультета там не было. Уже кончалась «оттепель» и заметно подувало холодом, но нашим выпускникам казалось, что впереди еще есть надежда и есть широкое по-прище для деятельности, поэтому вечер этот проходил на особом подъеме, эмоционально и даже революционно. Пели старые студенческие и революционные песни (анархистские и эсэровские. — Примеч. дочери автора, М. В. Осориной), говорили горячие речи. Казалось, что еще можно будет совершать нечто доброе и прекрасное, а жизнь будет строиться на основе закона и разума. Владимир Яковлевич поддержал эту веру своих учеников. Он сказал тогда простые и мудрые слова: «Каждый человек обязан быть счастливым». Меня тогда удивило это: как это «обязан»? Есть еще и судьба-недоля! Но Владимир Яковлевич хотел от нас активного отношения к себе и своей жизни: нельзя допустить себя до несчастья.

³ В соавторстве с дочерью О. Н. Гречина опубликовала статью по детским «страшилкам»: Гречина О. Н., Осорина М. В. Современная фольклорная проза детей // Русский фольклор. Л., 1981. Т. 20: Фольклор и историческая действительность. С. 96–106. Психологические аспекты мира детства и детского фольклора изучались М. В. Осориной в ряде других работ. — Ред.

Мы еще не знали тогда, какая темная беспросветная полоса проляжет перед нами на долгие годы, как будет трудно жить в атмосфере недоверия и подозрительности, но могу сказать, что в большинстве своем ученики Владимира Яковлевича сделали в жизни максимум того, что могли, и оправдали его доверие.

В августе 1970 г. Владимир Яковлевич заболел на даче. Случился инфаркт. И вот он в больнице им. Ленина, в общей палате, где душной августовской ночью задыхаются сердечники, а форточку не открыть (веревка от фрамуги оторвана, надо залезть на стол, чтобы достать), санитарку не дозваться. И Владимир Яковлевич, сам с инфарктом, в первый день лезет на стол, чтобы дать струю воздуха тем, кто задыхается, — почти как символ...

Из больницы он скоро выписался, видимо, недолеченный, и попросился на дачу. Елизавета Яковлевна увезла его в Репино. Эта последняя неделя его жизни была счастливой. В своей записной книжке, с которой не расставался, он записал: «Радуюсь счастью бытия!»

Но на даче он простудился, и ангина вызвала третий инфаркт. Опять эта проклятая больница и смерть...

На филфаке создалась похоронная комиссия. Собирали деньги на похороны, вызывали родных из Москвы и с Дальнего Востока, пытались пробить напечатание некролога в ленинградской прессе и достать место на кладбище в Шувалове (Северное) недалеко от могилы проф. Еремина. Некролог напечатал только «Вечерний Ленинград», да и то очень короткий, а место для могилы «пробить» не смогли никак, пока Г. П. Макогоненко не вспомнил, что отец одной его аспирантки — директор кладбища в Ленинграде, и тогда дело решилось за час...

Всех мучила мысль, что мы не в силах даже проводить достойно в последний путь ученого с мировым именем, который у себя на родине не получил ни почета, ни званий, ни должного материального обеспечения, ни даже места для могилы. Он должен был радоваться только тому, что его не уничтожили физически, как многих других, и что десять последних лет он прожил в нормальных условиях, а не в сыром полуподвале, где прошла большая часть его жизни.

Постоянно попрекая В. Я. Пропта тем, что он не ездил в экспедиции и не записывал фольклор, некоторые фольклористы, которые всюду ездили, не замечали одной характерной особенности Владимира Яковлевича: он с глубочайшим уважением относился к народной культуре, усматривая смысл даже в так называемых народных предрассудках и суевериях.

Баратынский очень точно сформулировал причину уважения людей к этому: «Предрассудок — он обломок древней правды». В. Я. Пропп в этом отношении продолжал традицию XIX века.

Запомнились два случая, когда я нарушила в присутствии Владимира Яковлевича народный запрет и не заметила своего прома-

ха. Так, прощаясь, я однажды подала Владимиру Яковлевичу руку через порог.

— Что вы делаете, — закричал он даже в каком-то ужасе. — Вы же фольклорист, а подаете руку через порог!

И добавил назидательно:

— Если мы забыли или не знаем смысл этого запрета, совсем не значит, что в нем нет смысла. Народ тысячелетиями вырабатывал эти запреты и видел в них глубокий смысл.

Конечно, он был прав: порог — граница между домом и миром, а значит, и опасная зона, где уже нет полной защищенности. А можно увидеть в таком прощании через порог и жест небрежения...

В другой раз я при Владимире Яковлевиче хотела разрезать ножницами завязанную двумя узлами веревочку на пакете. Владимир Яковлевич решительно отобрал у меня ножницы и сказал: «Вы же замужняя женщина, разве можно резать узлы? Женщина должна их развязывать!» И опять он глубоко понял мудрость этого запрета: в семейной жизни необходимо терпение.

Так же глубоко и лично чувствовал Владимир Яковлевич ту органическую систему соединения природы и человека, которая характерна для народной культуры.

С годами это ощущение у Владимира Яковлевича усиливалось, и он стал по телефону поздравлять меня с 22 декабря, когда солнце поворачивает на лето, а зима — на мороз.

Состояние здоровья Владимира Яковлевича во многом зависело от этих дат. Он чувствовал себя гораздо лучше, когда дни начинали нарастать. Сейчас, постарев сама, я это очень хорошо понимаю.

Я очень благодарна судьбе за то, что на протяжении более 25 лет мне удавалось общаться с этим мудрым, добрым, удивительным человеком, пример жизни которого сыграл огромную роль для меня лично и для многих его учеников.

(Воспоминания о Владимире Яковлевиче Проппе казались моей матери, О. Н. Гречиной, не вполне законченными. В качестве постскриптума мне кажется уместным добавить черновик ее письма к 70-летию Владимира Яковлевича, который я нашла после ее смерти в папке ее бумаг, посвященных Проппу. — *Примеч. М. В. Осориной.*)

Дорогой Владимир Яковлевич!

Традиционные формулы поздравлений столько раз раздавались в эти дни, что стали, вероятно, уже надоедать Вам. И все-таки поздравляю Вас от всей души еще раз! Живите долго, будьте здоровы, пусть чаще приходит к Вам страсть творчества. Бесстрастно могут работать только бухгалтеры или чиновники от науки, так будьте же страстным, и пусть рождаются новые и новые книги,

которыми зачитываются даже люди, скептически относящиеся к филологии вообще.

Вы называли меня своей ученицей. Многие были удивлены: что дала миру О. Гречина, чтобы ее называть в числе лучших со столь авторитетной кафедры? Только немногие знают, что я взяла от Вас, как от своего учителя, — не ту страсть к науке, которая рождается большим талантом, этого, к сожалению, нет у меня, и даже не методику Вашей научной работы, всегда восхищающую меня, но недосягаемую. Вы очень хорошо сказали о том, что, кроме научной работы, есть педагогическая, что Вы любите и уважаете племя студентов. Этому я и училась у Вас — умению увидеть в каждом студенте человеческую личность и помочь проявиться всему лучшему, что есть в ней. Если я и получила хоть какое-то признание студентов, то только благодаря тому, что пыталась, как и Вы это всегда делаете, общаться со студентами не как с некими академическими величинами, а как с людьми.

Студенты ценят Вас не только как очень интересного ученого, каких всего несколько на весь университет, но прежде всего как человека, который, может быть один в целом университете, умеет по-настоящему уважать и любить Студента.

У меня есть очень дорогой для меня подарок, которым одна умная и тонкая женщина, студентка шестидесяти лет, бывшая бестужевка, подчеркнула преемственную связь мою с вами, позволившую Вам сегодня назвать меня своей ученицей. Тогда многие молодые преподаватели университета откровенно посмеивались над этой учительницей-пенсионеркой, которую томила высокая страсть к науке. Я сама в те годы только начинала преподавать, но поняла, что эта чудаковатая, очень одинокая старая женщина, как никто другой, нуждается в атмосфере того доброго участия, которой Вы так умеете окружать своих учеников. Я взяла ее к себе в дипломантки, мне она сдала все экзамены, которые я только имела право принять. Когда она окончила университет, я получила от нее на память три тома сказок Афанасьева, изданных под Вашей редакцией.

Еще одно я хотела сказать Вам... Я очень много душевных сил вложила в своих детей. Мне очень хочется, чтобы они были много лучше меня, но для этого мало и слов, и книг, должны быть люди, «делать жизнь с кого», как говорил Маяковский. Как мать я счастлива, что имею такого учителя, который не только многому научил меня лично, но и будет всегда светлым примером для моих детей. Они обязательно со временем прочтут и полюбят Ваши книги, как сейчас они любят Вас.

Вот все то, что я хотела сказать Вам в этот торжественный день всеобщего человеческого признания Вашего большого труда и Вашей светлой жизни.

Будьте счастливы!

Ваша О. Гречина